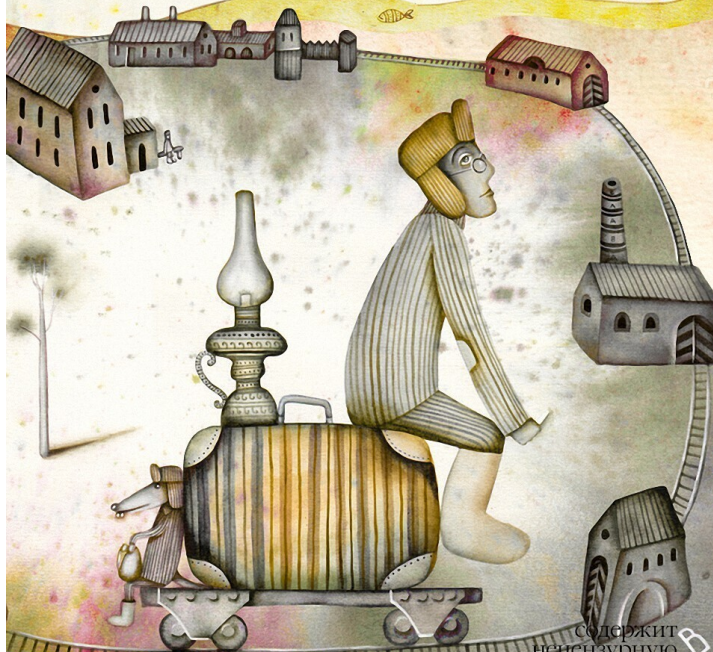


Игорь Губерман
Прогулки
вокруг
барака



18+

содержит
цензурную
орань

Игорь Миронович Губерман

Прогулки вокруг барака

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=68331842

Прогулки вокруг барака:

ISBN 978-5-904577-69-8

Аннотация

Книга записок, своеобразный дневник о времени, проведенном автором знаменитых гариков в исправительно-трудовом лагере.

«Пусть только любители детективов, острых фабул и закрученных сюжетов сразу отложат в сторону эти разрозненные записки. Ибо в них не будет приключений. Ни огня, тускло мерцающего в заброшенном доме, ни внезапных нападений из-за угла, ни щекочущих душу грабежей, ни утонченного воровства, никакой занимательной уголовщины. <...> Только тот, кто про лагерные ужасы начитался всяких книг и рассказов... тоже ни на что пусть не надеется и бросает мои записки сразу. Не было в нашем лагере ужасов. Не смертельны нынешние лагеря. Много хуже, чем был ранее, выходит из них заключенный, только это уже другая проблема. Скука, тоска и омерзение – главное, что испытывал я там».

Содержание

Глава 1	5
Конец ознакомительного фрагмента.	36

Игорь Губерман

Прогулки вокруг барака

© И. М. Губерман, 2003

© ООО «Издательство Гонзо», 2017

Глава 1

Еще в самом начале века замечательно заметил кто-то, что российский интеллигент, если повезет ему пробыть неделю в полицейском участке, то при первой же возможности он пишет большую книгу о перенесенных им страданиях. Так что я исключением не являюсь. Правда, срок у меня много длинней и пишу я не только что издать не надеюсь, но и не будучи уверен, что сохраню. Это дневник, хотя все виденное и слышанное я пишу в него с запозданием – спохватился уже год спустя после ареста. Впрочем, нет – оправдывается вполне и в моем случае эта давняя усмешливая констатация: появилась возможность у интеллигента – вот он и сел писать. А что еще не выйдя на свободу – это детали, частности. Когда опомнился, тогда и начал.

Ибо вполне я ощутил, что нахожусь в заключении, что еду в лагерь, что ступил на дорогу, пройденную миллионами далеко не худших людей, – уже в поезде, везущем нас в Сибирь, да и то только где-то за Уралом. После пересыльной тюрьмы Челябинска я оказался в поезде в одной клетке со своим почти ровесником, чуть постарше, много лет уже отсидевшим, ехавшим куда-то на поселение. Очень быстро мы разговорились, а вечером он вдруг сказал мне запомнившуюся фразу:

– Ты в лагере нормально будешь жить, потому что ты мужик нехуевый, но если ты, земляк, не бросишь говорить

«спасибо» и «пожалуйста», то ты просто до лагеря не додешь, понял? Раздражает меня это. Хоть и знаю, что ты привык, а не выебываешься.

Я тогда засмеялся, помню, а потом вдруг ясно и ярко сообразил, что началась совершенно новая жизнь и действительно, может быть, от многих уже в кровь вьевшихся привычек следует отказаться. И тогда же решил не спешить подделываться под общий край и самим собой оставаться как можно дольше. В тюрьме я не задавался такими мыслями, оттого, быть может, и запомнился мне тот день как какое-то важное начало.

А писать этот вроде как дневник я начал тремя месяцами позже, даже знаю, почему его начал. Недалеко от моего места в бараке на стене висят часы-ходики, неизвестно как попавшие сюда, а главное – непонятно почему не сдернутые кем-нибудь из проходящих надзирателей. И под утро вдруг проснувшись до подъема, я услышал уютный звук их мерного хода, смотрел на них долго – очень уж не вязался их мирный домашний вид с интерьером полутюрьмы-полуказармы, потом снова попытался заснуть – и услышал их звук опять, только он переменялся явственно. «Ты кто? Ты кто? Ты кто?» – говорили часы. Я даже уши заткнул, надеясь, что спустя минуту услышу снова их привычное «тик-так», но ничего у меня не получилось. Так и пролежал до подъема, слушая их бесконечный вопрос, оказавшийся вовсе не случайным. Очевидно, и раньше зрела во мне жажда подумать, кто

я, и вот – нашел замечательно удобное время и место для своих самокопаний. Тут я и решил делать записи, чтобы с их, быть может, помощью разобраться слегка в себе впоследствии – ибо очень ведь немало говорит о человеке то, как и что записывает он из своих текущих впечатлений. Вот посмотрю на себя со стороны, подумал я. И, как говорится, замысел свой в тот же день привел в исполнение. Не без надежды, что и читатель найдется, когда (и если) мои листки попадут на волю.

Пусть только любители детективов, острых фабул и закрученных сюжетов сразу отложат в сторону эти разрозненные записки. Ибо в них не будет приключений. Ни огня, тускло мерцающего в заброшенном доме, ни внезапных нападений из-за угла, ни щекочущих душу грабежей, ни утонченного воровства, никакой занимательной уголовщины. Кстати, и о страданиях – заранее извиняюсь – тоже мне нечего написать, ибо не было их здесь особо тяжких. Тех близких, кто на воле оставался, мне все время жалко было – это вот и впрямь тяжело. А страдать самому не довелось. Даже стыдно за свою толстокожесть.

И еще одного не обещаю: здесь и связного повествования не будет. Приходилось ли вам заметить, читатель, сколь похожи и сколь скудны все наши беседы и разговоры? Разве есть в них связная тема? Нет, мы обмениваемся анекдотами. Байками, рассказами, случаями. Притчами, историями, слухами. Приходилось мне читать, как люди некогда обсу-

дали ночи напролет лишь одну какую-то проблему, поворачивая ее так и эдак, приводя мысли и аргументы, доводы и возражения, даже самые анекдоты и случаи нанизывая на шампур единого развития темы. То ли наше общение стало сейчас иным, то ли слишком мы мало знаем, то есть недостаточно образованны, чтобы долго плести нить беседы, но только факт, что застольные наши, компанейские и дружеские разговоры явственно и безнадежно раздроблены на короткие обрывочные монологи. То трагичные, то смешные, всякие. Нет, мы обожаем поспорить, даже пофилософствовать любим, наводя Монтень на плетень. Сохраняя только ту же череду анекдотов, перекидываясь которыми, как шариками пинг-понга, коротаем мы вечернее время и расходимся, весьма довольные, если было много новых баек. По тому, что рассказывает собеседник, мы даже судим о нем (и не напрасно) и решаем, звать ли его в следующий раз и с кем совмещать, чтобы друг другу не мешали, а стимулировали. Ибо если не будет созвучия или хотя бы взаимного немешания, то не поможет и водка, без которой вообще мы разучились общаться.

Только здесь у меня не было водки. Мы общались, цифиря – за чаем, накрепко заваренным по-лагерному: полпачки на небольшую кружку, и – по кругу, каждый по два глотка. Очень он поддерживал нас, уж не знаю насчет вреда его или пользы для здоровья. Думаю все-таки, что пользы было много более, чем вреда, ибо он стимулировал дух, он бодрил нас,

цифир, а главное – он соединял нас. Ничего важнее этого я не знаю для человека в неволе.

Был я в неволе уже год. Повернулось где-то невидимо лотерейное колесо судьбы, а замшело-архаичные слова эти, если чуть поиграться ими, превращаются в судебное колесо. Что и вышло у меня буквально. Потянулось долгое следствие – я преступником себя не признавал, ибо не был, потянулись долгие дни, проводимые мной то в камерах предварительного заключения при милиции подмосковного городка, то в тюрьме, куда возили отдыхать, когда следователю я был пока не нужен. В тюрьме было много лучше: целый день играло радио, рассказывая то о новых стройках в лагере мира и социализма, то о стихийных бедствиях и безработице в странах капитала, бодрыми песнями и легкой музыкой освежая наш быт, были шахматы и много людей; легче с куревом было, и кормили три раза в день, давали книги, и по воздуху была прогулка (в такой же камере, но вместо потолка – решетка). Спали мы опять же на тюфяках, а не на голых и грязных досках, баня была еженедельно. Много было и других преимуществ, из которых далеко не последнее – водопровод и канализация в камере, а не мерзкая посуда-параша, отравлявшая и воздух, и настроение. Даже полотенце давали. Нет, настоящим отдыхом была мне тюрьма во время следствия (кстати, когда чисто вымыт, на допросах совсем иначе себя чувствуешь – полноценней, что ли, тверже и достойней, это я заметил сразу). Однажды, помню, чуть я не заплакал от оби-

ды, как мальчишка, когда после четырех часов езды по морозу (в глухой железной коробке спецавтобуса) выяснилось, что оформлено что-то не так в моем путевом листе и в тюрьму меня поэтому не берут, надо возвращаться обратно.

А потом был недолгий и заведомый суд, и я снова увидел своих близких, сидевших в зале, и от нежности к ним, от чувства вины, что им столько за меня пришлось переживать, у меня влажно тяжелели глаза, и тогда я отводил их в сторону и все дни сидел, уставясь за окно, где бушевала, капала, текла, голубела и солнечно разгуливалась весна.

К лету ближе уже ехал я в лагерь, и почти два месяца ушло на дорогу. Одна за другой пошли камеры пересыльных тюрем и столыпинские вагоны в промежутках (бедный, бедный Столыпин – мало что его убил в театре запутавшийся еврей, еще имя его оказалось так идиотски увековечено этими вагонами, не имеющими к нему никакого отношения).

Уже в самом разгаре лета приехали мы наконец на зону. И когда нас высадили из вагона, то настолько тугой и душистый запах сибирского разнотравья оглушил меня с первой же секунды, что все те полчаса, что сидели мы на корточках у вагона, был я от этого запаха чуть ли не пьян и по-дурацки счастлив. Словно дивное меня ожидало приключение, и я прибыл уже, и вот-вот оно состоится. После был огромный грузовик (с нами в кузове и конвой, и собака), железные впечатляющие ворота – лагерь. Сбоку на здании – всюдошный, только всюду незаметный, ибо приглядевшийся, а тут

видный, ибо звучащий двусмысленно, – здоровенный во всю стену плакат, что идеи Ленина живут и побеждают. А в бараке, куда нас загнали, висели два кумачовых полотнища: на одном чеховское утверждение, что в человеке должно быть все прекрасно (поразительно, как у этого ненавистника пошлости и ханжества отыскивали именно это пошлое и ханжеское заявление), а также не менее затасканное короленьковское, что мы созданы все для счастья, как птица – для полета. Вообще в лагере было много наглядной агитации. Был, конечно, вездесущий и знаменитый плакат «на свободу с чистой совестью», где веселый красавец держал свой паспорт точно так же, как такой красавец на плакате «накопил и машину купил» держал сберкнижку. Был даже юмор, звучащий несколько палачески, ибо плакат висел над входом в самое страшное место лагеря – в штрафной изолятор: празднично пляшущие буквы сообщали, что «кто режиму содержания не подчиняется, для того режим содержания изменяется». Но все это я рассмотрел потом.

Только тот, кто про лагерные ужасы начитался всяких книг и рассказов (слава Богу, что растет их число), тоже ни на что пусть не надеется и бросает мои записки сразу. Не было в нашем лагере ужасов. Не смертельны нынешние лагеря. Много хуже, чем был ранее, выходит из них заключенный, только это уже другая проблема. Скука, тоска и омерзение – главное, что испытывал я там. Красноярский край, граница Иркутской области, самая что ни на есть Сибирь.

Поселок Верхняя Тугуша, а по железной дороге – станция Хайрюзовка, на трассе знаменитой некогда комсомольской ударной стройки Абакан – Тайшет. Лагерь здесь еще с тридцатых годов, так что много всякого подлинно страшного рассказать могла бы эта заболоченная земля (и сам лагерь весь – на болоте), но земля молчит. И молчит наш остров из опилок среди болота, и молчит само болото, начинающееся прямо за забором с колючей проволокой, и молчит угрюмый плац в середине лагеря, утопанный многими тысячами здесь прошедших и ушедших людей. Часть их (притом огромная) ушла недалеко – кладбище нам видно из-за забора, то место, вернее, где хоронят, ибо никаких внешних примет кладбища у него нет. Оно традиционно называется номером последнего отряда – раньше было семь отрядов, и оно именовалось восьмым, а после прихода нашего этапа сделали восьмой отряд, и кладбище стали немедленно называть девятым. А бараки тянутся сбоку плаца – каменные, двухэтажные, современные. За отдельной оградой они стоят – чтобы зря не бегали по лагерю зеки, а сидели в своих загонах. Это так называемые локалки – каждый отряд должен жить сам по себе, ибо чем разобщеннее мы здесь, тем надежней в смысле дисциплины. И вообще. За нарушение – изолятор. Если застанут в чужом бараке. Ходят, правда, все равно, но немногие. И не потому, что боятся они начальства, а лишь только (или главным образом) потому, что сидит одна молодежь и повсюду, как водится у дворовой шпаны, – на чужом дворе

пришельца встречают искоса. Интересно даже, что выражения типа «гусь приезжий» и «не отсюда пассажир» служат в рассказах и историях как обозначение не просто чужака, но человека заведомо обреченного – на грабеж, на избиение, на пристальное недоброжелательное внимание.

Это лагерь общего режима. Самый легкий – для сидящих по первой ходке. Есть, кто сидит и по второй, и по третьей ходке, если нетяжелым счел суд его преступление, оттого он здесь, а не на усиленном или строгом режиме. Только на самом деле общий – самый тяжелый режим и на строгом гораздо легче. Это мне объяснили давно. Потому что на общем – сопливый, агрессивный и совсем еще зеленый молодняк. Рослые и здоровые жители общего режима, возраста от восемнадцати до двадцати с небольшим – в полном смысле слова просто не были еще вполне людьми. Мужчи́нами. Человеками. Были они великовозрастные дети и играли в свои детские игры. Проявляя при этом все черты, присущие детям и подросткам: безжалостность, эгоизм, драчливость, мелкую заносчивость, ребячливое хамство и бессердечие, притворство, необъяснимую жестокость, полную готовность к драке и сваре по пустякам. Взрослых в духовном смысле слова не было среди них – я во всяком случае почти не встретил. А незрелость и избыток энергии оборачиваются такими чисто животными проявлениями, что и впрямь очень тяжело на этой зоне. Кстати, она так и называлась в разговорах зеков из других лагерей – лю́тый спец. Били здесь

кого-нибудь ежечасно, а угрозы и сварливая перебранка, по-мальчишески вздорная, но по-взрослому опасная, просто висела в воздухе, образуя душную, затхлую, истощающую нервы атмосферу.

Некий порядок, если это можно назвать порядком, существует благодаря блатным, аристократам и надзирателям в одном лице, но это тоже порядок рабства. А еще надо всем и всюду висит безысходная слепая скука, тревожащая и будоражащая этих мальчишек, от которой они готовы делать что угодно, лишь бы не сидеть в тупом голодноватом оцепенении. Да притом еще очень хочется играть в умудренных опытом, повидавших жизнь мужчин, отчего непрерывно льется поток незамысловатого вранья о женщинах и водке, перемежаемый подначками, руганью и ссорами.

Поселили вновь прибывших не в бараках (лагерь зеков на шестьсот, навезли нас втрое больше), а загнали в клуб, где кино на время отменили. Клуб легко вместил наш отряд, только узкие остались проходы между тремя рядами наскоро сколоченных нар.

На промзоне, где предстояло нам работать – благо рядом она была, – делали шпалы, барабаны для кабеля, дощечки для упаковочных ящиков и прочую нехитрую продукцию из огромных могучих лиственниц, подвозимых сюда с лесоповала.

Нет, не сразу я освоился здесь. Очень многое не то чтобы испугало и пригнуло меня, но скорее до отчаяния и тос-

ки расстроило. Та жестокая и бездумная мальчишеская задиристость, о которой я уже говорил, – странно сочеталась в моих новых соседях с очень взрослой, дремучей, старокрестьянской прижимистостью и злобной скаредностью. Часто очень трудно, к примеру, становилось на зоне с табаком. И табак превращался сразу в некую ценность, вокруг которой собирались компании, объявлялись приятели, оценивались связи. Голая и неприкрытая корысть – не на золоте основанная, а на табаке! – поселялась в наши отношения. И впервые в жизни я вдруг совершил страшный и странный грех: неожиданно для себя сказал однажды, что закурить у меня нечего, хоть махорка еще была. Он спокойно повернулся и отошел, маленький слесарь Валера из Владивостока (покупал опиум с приятелем, донесла теща, три года), он уже привык к отказам, он прекрасно знал, что табак у меня есть, но его нравственное чувство никак не было возмущено или даже задето моим отказом. Ибо он и сам поступил бы так же, просто очень хотел курить, не дали, вот и все, никаких проблем. Он давно уже от меня отошел, а я все еще стоял, вспотев внезапно, покрасневший, в невероятно омерзительном состоянии. Нет, не стыдно за себя – мне страшно стало, что по этой вот наклонной плоскости я легко покачусь и дальше. И я кинулся искать Валеру. Никуда он, конечно, деться не мог, и я вмиг его нашел на нашем крохотном дворике-загоне. Это первые были самые дни, нас держали еще в карантине, в так называемой этапной камере – было там,

наверно, коек шестьдесят, так что наши полторы сотни умещались запросто, на полу вповал, тесно прижимаясь друг к другу. И такой же был рядом дворик, отгороженный от зоны забором. Валере сунул я махорку, что-то жалкое и невнятное бормоча, что достал, дескать, что забыл, что вот, пожалуйста, бери и подходи всегда. Он ее у меня взял, никакого удивления не выказав, тут же протянулся ко мне еще десяток рук, и в минуту я остался без курева.

Ах, дурак! И я тут же остыл от своего раскаянного порыва. Ну, а что я буду курить через час? Завтра? А еще через неделю? Нет, на неделю все равно бы не хватило. Очень долго я в тот день раздумывал, как вести себя впредь и далее и как разум, диктующий жлобство и скрытность, примирить с душой и совестью, привыкшими... погоди-ка, милый друг, к чему привыкшими? Только к тому, что ты щедро всю жизнь делился, отдавая нечто, что не обездоливало тебя самого, а здесь речь идет о последнем и трудно восполнимом. Это уже, брат, не филантропия, а потяжелей и посерьезней. И еще: отдавать ты будешь людям случайным и неблагодарным, кои сами с тобой так никогда не поступят. И поймут тебя, кстати, не обидясь, если будешь воздерживаться и ты. Ну, подумай-ка, подумай еще.

Я подумал и решил отдавать. Просто мне это было легче и проще. И до той поры так поступал, пока не узнал, что меня за глаза именуется кто-то «профессором», только в такой тональности, как говорили бы «блаженный», знай они это сло-

во. Тут я обиделся и стал поступать по настроению. Каждый раз мучаясь, когда проявлял жадность и зажимательство, и не менее того сожалея, когда расщедривался, как на воле.

А потом я не заметил и сам, как прижился и обжился на зоне. Просто лето очень быстро промелькнуло. И вот тут-то, к осени уже, втемяшилось мне это с дневником. Очень жалко мне стало вдруг, что сотрутся, забудутся впечатления – и от следственных трех тюремных камер, и от пересыльных пяти, и в «столыпинах» дни и ночи забудутся, и впустую вроде канут все встречи. И на зоне были разные разговоры, ибо скоро я оброс собеседниками. Я общался очень много с Писателем, тоже москвичом, белой здесь вороной такой же. Он писал какие-то книжки, о которых разговаривал неохотно, что писателям, похоже, несвойственно, а однажды был приглашен – с почтением – сотрудничать с лубяньскими доброжелателями. Очень он был нужен им, потому что с кучей интересных людей общался тесно, а Всевидящее Око о них знать хотело поподробней. Отказался наотрез и безоговорочно. «И вот я здесь», – говорил он, совершенно этим, кажется, не огорченный. Очень жадно на все смотрел он и расспрашивал. Собирался, должно быть, бедолага, что-нибудь из увиденного потом художественно описать. Один зек хорошо ему сказал:

– Если у тебя, Писатель, про нас книжка честная получится, то ты сразу просись на эту зону, здесь прижился, легче будет новый срок тянуть.

После появился Деляга. Это инженер, институт закончил,

но главное – заядлый коллекционер. Собирал он иконы, а подсел за покупку нескольких штук краденых, те же воры его и посадили, что украли иконы эти, привезли их ему и продали. Явление редкостное, чтобы воры сажали своего же собственного покупателя, но те были на него злы, что он их из дому выгнал, догадавшись как-то, что они сбывают краденое. «За такую подлянку этим сукам нож полагается по добрым старым обычаям», – сказал Костя, человек опытный и неболтливый.

А в санчасти жил Юра, или Лепила (общее на фене название для фельдшеров или врачей), хирург из Норильска. Молодой, взбалмошный и азартный. За то и сел по статье о жульничестве. А из тех, чье имя я до поры не называю (по причине простой и веской), был Бездельник – я люблю его больше всех. Он писал стихи, и уже две книжки его вышли за границей. «Такие сборники дерьмовые вышли, – говорил он беззаботно и не грустя, – даже как-то обидно за них срок отбывать. Видно, есть что-то ущербное в моих стишках – ни здесь они не нужны, ни там. Хоть зарежься». Его постоянный оптимизм и внезапно вспоминаемые байки – много раз мне жизнь облегчали в лагере.

– Красота, когда в чрезмерном количестве, – очень может оказаться вредна, – сказал он мне как-то назидательно, когда я несколько часов читал, не отрываясь, при слабом свете, и к вечеру у меня глаза опухли, и круги перед ними плыли, покачиваясь. У его знакомых домработница была, и однажды

летом она рассказывала – Бездельник слышал – своим приятельницам об их коте, оказавшемся после пыльного города на природе и слишком жадно окунувшимся в ее радости. Васька-то, говорила домработница, этих всяких насекомых жрал, жрал, а под вечер гляжу: сидит возле дачного крыльца, и рвет его, бедолагу, так и рвет. И все, представьте, – бабочками, бабочками.

Очень мне жить помогло общение с этими людьми, разговоры их, подначки, споры, ибо давно было замечено и сказано, что без привычной человеку среды он неуклонно превращается в Пятницу. У меня эта среда – была.

Мы работали в общем-то немного. Не было каторжного труда. Сказывалась перегруженность лагеря, и промзона всех работой не обеспечивала. Да еще когда пошли дожди, то и дело не могли сквозь грязь пробиться, застревали тяжелые лесовозы. А то строили новый барак, на промзону нас не выгоняли, а в жилую – не подвозили материалы, и мы целыми днями отсиживались за полусложенными стенами нашего памятника лагерной архитектуры. И если многих молодых эта незанятость мучительно томила, то Бездельник ею искренне наслаждался. Мы часами бродили вокруг этого недостроенного барака, и все наши сумбурные разговоры захотелось мне тоже записать. Но с чего начать, не знаю. С давнего бы надо, с уплывающего, чтобы окончательно не стерлось. Но уже не сегодня. Не получится. Я пишу это в каптерке у приятеля, а ему пора ее закрывать.



Тюрьмы отличаются друг от друга приблизительно так же, как семьи, в которые ходишь в гости: атмосферой своей, кормежкой, всем набором ощущений, что испытываешь, в них находясь. На всю жизнь я запомню тюрьму в Загорске – и не только потому, что она была первой в моей жизни. Расположенная в здании бывшего женского монастыря (а другие говорили о женской тюрьме при монастыре, третьи – вообще о гостинице для приезжающих в Троице-Сергиеву лавру), поражала она своей на века могучей кладкой стен, сводчатыми потолками, и была она страшной по режиму. Кормили в ней скуднее всех тюрем, в коих мне довелось впоследствии побывать. Это после нее во всех тюрьмах просыпался я тревожно и лихорадочно от лязга ключей в замочной скважине – потому что при каждом обходе любого из надзирателей (а на нашей фене – дубака) надо было вскакивать всем и выстраиваться, а дежурному – рапортовать, что в камере такой-то столько-то человек и что все в порядке. Задержался на нарах – вводили и били. Молодые, совсем зеленые прапорщики и лейтенанты, румянощекие и чистоглазые юнцы. И кошмарно яркая лампа день и ночь горела в крохотной нише, густо побеленной и отсвечивающей поэтому, как рефлектор. Помню, как чуть позже переведенный в тюрьму в Волоколамске, я лежал, когда погасла дневная лампа и загорелась слабая ноч-

ная, и блаженно улыбался полумраку, казавшемуся дивным отдыхом.

В эти дни как раз в газетах писали, какому жуткому поруганию достоинства был предан Луис Корвалан в его чилийской тюрьме: ему три дня подряд не гасили в камере свет.

И режим был гораздо легче в Волоколамске – можно было, например, запросто «подкричать на решку» – перекликнуться со знакомым через решетку – слышно было камеры через две в сторону или вверх-вниз на этаж. Мы в Загорске и подумать о таком не могли. Но зато Загорская тюрьма была показательной – я потом об этом узнал – и ее хвалили на совещаниях. А кормили там хуже, чем везде, я семь тюрем проехал после суда, добираясь до далекого сибирского лагеря. Жидкий суп без капельки жира мы съедали торопливо и жадно, всего чаще это была уха, только плавали в ней одни скелеты и головы – рыбок отбивали перед варкой, и все мясо сваливалось с них. А потом разливали второе в наши миски – теплую жидковатую мешанину из протухшей капусты, почерневшей свеклы и картофеля, изъеденного каким-то картофельным недугом. Есть очень хотелось, но есть это никак было нельзя. Ковырнувши ложкой пару таких гнилых кружков, мы выбрасывали второе в парашу. Оттого и хлеб, как бы ни был он похож на глину, мы съедали весь еще днем, чтобы затравить голод. А стояло на дворе – начало осени, и тревожили нашу еще свежую память мысли об огурцах, помидорах и картошке, политой маслом. Разговоры о еде, впро-

чем, были под негласным запретом. А на ужин опять была такая же уха или каша из крупы, никому неведомой на воле. После кто-то опознал в ней перловку, но и тогда я не нашел сходства с перловкой, что доводилось мне есть раньше. Полбуханки хлеба никому почти не удавалось дотянуть до вечера, но, по счастью, был у нас хоть табак. Что такое голод без курева, мне довелось узнать несколько позже. Очень много все-таки крали у нас в Загорске из тех тридцати семи копеек, что нам в день полагалось на еду. Тридцать семь копеек на воле – это буханка черного хлеба и пачка дешевых сигарет, это фантастически мало, но кормить на эти деньги можно – в этом я убедился в последующих тюрьмах, где уже не голодал. Потому что на рыбьих скелетах там бывала еще часто рыбья плоть, потому что на второе давали непременно кашу, потому что какой-то жир ощутимо и явственно попадал все же нам в еду.

Но зато именно в Загорске приобрел я свой первый опыт самого, быть может, страшного из того, чему учат тюрьма и лагерь: что в себе надо силой давить сострадание и сочувствие, что нельзя ни за кого заступаться. Чуть попозже, в Рязани, где сидели в камере скопом люди с общего и усиленного, строгого и особого режимов, довелось мне дня три пообщаться с интеллигентным средних лет ленинградцем, ехавшим на поселение. Ожидая этапа, встретиться на воле мы не договаривались, хотя очень этого хотелось обоим, но еще впереди были годы, а он знал, как меняет людей лагерь, и

молчал, не прося у меня адрес, молчал и я, полагая, что не стоит навязываться. Однако же о будущем моем он, очевидно, думал, ибо как-то на прогулке отвел он меня в сторону, закурил и сказал как нечто очень-очень важное:

– Старина, посидевшие на зонах различают людей насквозь, ты еще научись этому. А пока ты наивен, как щенок, несмотря на свои сорок пять, седину и возвышенное образование. Ты в лагере наверняка приживешься, и друзья у тебя будут, и приятели. Об одном только, с тобой пообщавшись, я хочу тебя сразу предупредить. Ты неизлечимо болен очень редкой даже на воле болезнью – ты ко всем суешься с добром. А на зоне это не просто глупо, это опасно. Добро можно делать только в случае крайней необходимости, а по возможности – совсем не надо делать. За него тебе добром не отплатят, в лучшем случае – ничем не отплатят. Чаще – злом. Оно возникает само и ниоткуда. Ты меня сейчас не поймешь. Поверь. Я на воле жил, как ты. Но воспитался. Знаешь, на блатной фене есть замечательное выражение: попасть в непонятное. Еще не слышал? Ах, слышал. Так вот ты все время в него будешь попадать. Не суйся! Ты не веришь мне сейчас, я знаю. Только слушай, неужели ты еще ни разу в тюрьме в непонятное не попадал?

Попадал. Просто я не сказал ему об этом. В первый месяц в Загорске. В нашей камере было восемь шконок (это узкие нары на одного), а сидело нас пятнадцать человек, – спали на столе и на полу. Помещались. Много было блох и

клопов. Ловили. А у рослого симпатичного парня Мишки красная шла сыпь по всему телу – нервное что-то, как он нам объяснил, и его каждый день водили в санчасть мазаться. Он сидел за какую-то драку: то ли он соседа побил, то ли целую семью соседскую – так обычна была его история, стольким давали срок за пьяную стычку, что забылось всеми немедленно все, что он рассказал. Но однажды, уже с месяц спустя, принесли ему обвинительное заключение – скоро предстоял, значит, суд. Покажи, пристали к нему в камере, все показывали друг другу эти данные предварительного следствия, представляемые в суд. Называли их не иначе, как объебон. Покажи свой объебон, пристали к нему, а он категорически отказался. Завтра, сказал он хмуро, сегодня сам буду читать. Завтра так завтра. Но наутро этих листков не оказалось, только последний самый, где перечислялись вызванные в суд пострадавшие и свидетели. Были там перечислены пять или шесть женщин, а он, помнится, рассказывал о пожилom соседе. (Пожилom – это значило, что моих лет, молодые все сидели в камере парни.)

Коллектив нашей камеры возмутился громко и единодушно – все показывали свои объебоны, что могло там быть такого особенного? Потом затих общий галдеж, но тишина – самая опасная в тюрьме атмосфера. Переглядывались, перекидывались односложными словами в его адрес. Он отмалчивался и лежал на своей шконке, отвернувшись к стене лицом. Он еще сказал всем, что ночью отдал эти листки надзи-

рателю. Но зачем? Это явная была и раздражающая камеру ложь. И когда его вызвали мазаться, двое твердо сказали, что сейчас они будут его бить, когда вернется. Чтобы знал, как нарушать традицию полной открытости любых бумаг по делу. Нет, о самом деле ты был вправе говорить кратко, в камере вполне могли быть подсадные утки, это на личное усмотрение каждого оставалось – устная откровенность, но бумаги – их никто не скрывал. Да и что в них было скрывать, в казенных бумагах? Скажет, мрачно говорили эти двое, подзадоривая на расправу и остальных. Разворотим харю, опустим почки – скажет. Поддержали их все. Кроме меня. Здесь всего скорей, честно сказать, сыграла роль моя неприязнь к двум этим типам, подмосковным полуспившимся бичам, игравшим сейчас в камере бывалых преступников, рьяных блюстителей тюремных традиций. А больше всего на свете я всегда не любил блюстителей. Чего бы то ни было. Даже самого что ни на есть хорошего. Ибо блюстители с непреклонностью опошляют и пачкают все, что усердно и добровольно защищают. И поэтому я сел на своей шконке и сказал, что только через меня. Что я бить его никому не дам. Не хотел он, вот и не показал. Не обязан. Вы обижены? А здесь обиженных ебут, это главная тюремная поговорка, вы мне ее сами рассказали. А наказывать Мишку – не за что, и не наше это дело – радовать ментов нашей дракой. Что-то в этом роде патетически сказал я тогда, упреждая назревавшую расправу. (Очень после страшно стало, только было уже поздно

отступить.)

Камера хорошо ко мне относилась, и еще два дня этот Мишка, ни с кем не разговаривая, пролежал на своей шконке небитый. Только эти двое ворчали изредка и косились на меня, я же полон был, признаться, самодовольства, что не дал побить человека. А на третий день с утра его вызвали (по фене – дернули) из камеры, чтобы везти в суд, он ушел, ни с кем не попрощавшись, и почти сейчас же мой сосед и приятель выкрикнул голосом Архимеда:

– Мужики! А я знаю, по какой он статье. Он же по сто пятнадцатой, подонок! Вот почему там одни бабы!

И немедля, как бывает только в жизни и в плохих кинофильмах, надзиратель отомкнул нашу дверь и сказал ворчливо:

– Ну, ушел же, конечно, я ведь видел. Я в санчасти говорю: увезли на суд, а она говорит – не может быть, еще два укола осталось.

– Какие два укола? Он же мажется чем-то, гражданин начальник, – спросил кто-то из нас. Коридорный посмотрел на него презрительно и сказал:

– Дервня! Кто же от сифилиса мазью мажется?

И добавил, нашим изумлением польщенный:

– Шестерых еще наградил, сукин сын. И даже собственную бабу.

И захлопнул дверь, что-то снова буркнув о врачихе. Все молчали и смотрели на меня. Я тоже молчал ошеломленно.

– Твое счастье, Мироныч, – хмуро и зло сказал мой сосед, – что ты – это ты, а то дали бы тебе сейчас оторваться, искал бы пятый угол до вечера.

– Что же они, суки, делают, как же его можно было к нам сажать, это же уголовное преступление по той же статье, – бормотал я, чтобы хоть что-нибудь говорить.

– А вчера и позавчера мы с ним все из одной кружки пили, – сказал кто-то.

– Да не убивайся ты, Мироныч, – добродушно сказал сосед. (Спасибо тебе, дружище, где ты, интересно, сейчас. Ломилось тебе лет восемь. Пьяный напарник вез тебя, пьяного куда сильней, на вашем тракторе, раздавил стоявший «Запорожец» с мужем и женой, а тебя, когда все это увидел и отрезвел, посадил на свое место.) – Не убивайся. Мы с ним почти месяц сидели, на три дня бы раньше узнали – какая разница? А они и вправду суки. Подумаешь – тюрьма переполнена. Положили бы в санчасти где-нибудь. Им, козлам, плевать на нас. Пронесет, Бог даст, не заразимся.

Все в камере загалдели возмущенно, стали обсуждать, куда жаловаться и что за это будет (им, жалобщикам, а не начальству, с этой механикой уже все были знакомы), а я очень долго молча сидел и курил, обдумывая свой первый в заключении опыт соблюдения справедливости.

Грустная мудрость того встреченного ленинградца оправдалась на зоне, где один за другим были мне преподаны чрезвычайно наглядные уроки. Их героем оказался Писатель, я

смотрел со стороны и ужасался – как бы это выразиться точнее – краху гуманистического сознания. Нет, никаких особых трагедий не было, просто с четкостью взводимой пружины срабатывала логика неперемennого наказания за добро. Отвечая той же мерзостью, что сменила гибельный кошмар былых лагерей грязным растлением человека в лагерях сегодняшних. Было так.

У отряда нашего был завхоз, тоже зек, здоровенный мужик из Красноярска, бывший таксист, севший за кражу двух ковров. Эта странная фигура – завхоз (ибо не было никакого хозяйства в отряде, кроме нас самих) – просто старший зек в отряде зеков, тот рычаг, которым нами управляли, и тот кнут, которым нас погоняли, первый исполнитель воли и прихоти лагерного начальства. Одновременно следовало ему быть цепным псом и не забывать при этом, что тоже зек, чтобы после, а то и прямо в лагере не получить внезапно ломом по голове – очень распространенный вид воспитания любых лагерных активистов. Было у нас восемь отрядов (кладбище называлось девятым), и очень по-разному вели себя их завхозы, одинаково явно заботясь только о своем будущем. Наш был самым оголтелым псом – думаю, что просто по глупости, коей был наделен очень щедро. Его круглая большая голова с совершенно круглыми бараными глазами (никогда ранее не видел я таких действительно скотских, неподвижных и тупых огромных глаз, только без влажной грусти, что всегда теплится в глазах животных) то и дело мелькала в бараке

нашем, где всевластный он был хозяин. Бил он зеков по малейшему поводу, а проснувшись – когда не в духе, – без повода, и боялись его смертельно. Это он в значительной мере был причиной того общего душевного угнетения, что царило у нас в отряде с самого начала, превращая начинающих зеков в отупевшие бессловесные создания. Одной из его первых затей была команда никого не впускать в барак до отбоя, а как раз пошли дожди, похолодало, и продрогшие, мокрые жались зеки у дверей, даже после работы лишенные возможности отогреться и обсушиться. Ни в одном из отрядов такого не было. А Писателя как раз назначили культторгом, странная эта должность кем-то была придумана для показухи самоуправления зеков. Даже был такой балаган, что пришел офицер и предложил отряду самому выбрать культторга (завхоз – тот просто назначался), но при этом сразу назвал фамилию того единственного, которого начальство утвердит. Так что это были настоящие демократические выборы с голосованием и протоколом всеобщего единодушия. Кстати, и в бригаде каждой был культторг – этот явно и просто должен был помогать бригадиру, принуждая нас работать, отчего и брались в культторги (уже сам бригадир себе присматривал) кто пожестче и поздоровей (так что организаторами культурной жизни оказывались, как правило, могучие дебилы), а отрядный культторг – тот был заместителем завхоза. Хочешь – тоже бей, как он, хочешь – тоже набери себе шестерок по сильнее, только чтоб в отряде был порядок и тишина.

Так что Писатель попал в культторги случайно – по формальному признаку, что образован, да и пробыл им всего две недели, ибо в первый же час исправления своей должности сказал завхозу, что людей надо пускать под крышу в непогоду. Потому хотя бы, что ведь и скотину пускают, а тем более во всех отрядах принято, что, когда свободен, можно находиться в бараке. Был как раз день, когда лил дождь с утра и пронизывающий дул холодный ветер-хиус, и казалось сумасшествием выгонять людей на улицу, как это делали сейчас шныри (дневальные, дежурившие по бараку), ибо собрание уже кончилось. Завхоз, естественно, ответил новоиспеченному культторгу, чтобы тот не лез в чужие дела.

– Я тогда вынужден пойти к дежурному офицеру, – сказал Писатель.

– Ты хоть на хер иди, а будет по-моему, – сказал завхоз. – А в культторгах тебе не жить. И пойдешь горбатить на промзону. Мокрых бревен еще таскать не приходилось? Давай, иди к офицеру.

Тут Писателю ничего и делать не оставалось, ибо выбор ему предлагался простейший, вековечный, человеку всегда и всюду предстоящий: человеком оставаться или при должности. Остаться самим собой или сдать, обвиняя время и обстоятельства, но зато на прекрасном теплом месте (и от работы культторг отряда освобожден). Зона вообще интересна тем, что обнажает догола, снижает до простейшего варианта очень многие узловые проблемы бытия, здесь ты мо-

жешь исповедовать любое мировоззрение, только не словами, что пусты здесь, а поступком.

Победили прочитанные книги, победило то спасительное нечто, что задавливало в себе большинство, чтобы жить на зоне было легче. И Писатель поплелся к офицеру, ища поддержку своему сочувствию зекам.

– Вполне в такую погоду можно пускать в барак, – сказал встреченный им лейтенант с испитым, но не злым лицом. – Я скажу сейчас. Не пускает кто? Дневальный?

Писатель что-то проямлил нечленораздельное, очень уж не хотелось жаловаться на этого барана, тоже зека, хоть и подонка. А не пускал действительно дневальный – только по приказу завхоза и боясь его кулака.

– Что же ты, сукин сын, людей под дождем держишь? – обратился лейтенант к дневальному. Шнырь этот, здоровенный тоже детина, только с мягким лицом семейного баловня, сидел за грабеж – отобрали у кого-то бутылку, потому что не хватало самим. Три года. Лучше его было бы высечь и отпустить, здесь этот маменькин сынок на глазах превращался в лагерного блатного, в неминуемого будущего преступника, только настоящего уже, а не бутылочного масштаба. А пока что ему очень нравилась возможность безнаказанно бить.

– Кто не пускает в барак? – сказал подобострастно дневальный. – Я, что ли, гражданин начальник?

И спокойно обратился он к сгрудившейся толпе заключенных, мокрой и окоченевшей толпе:

– Я кого из вас не пускал? Тебя? Или тебя? Нет, ты скажи – я тебя, что ли, не пускал? – он поочередно обращался к стоящим впереди, а они, к ужасу и стыду Писателя, опускали глаза, молчали, отводили взгляд в сторону, пятились назад. – Нет, ты мне скажи – тебя? – наседали шнырь, распалаясь праведной обидой. – Кто же это вам наплел, гражданин начальник?

– Когда холодно и дождь, можно пускать, – сказал лейтенант брезгливо, недосуг ему было разбираться. Повернулся и ушел, скользя по размытой глине плаца для построений. А Писатель стоял, как оплеванный, а за шнырем стоял завхоз, усмехаясь, и стояли молча зеки вокруг, и никто не осмеливался войти.

– Мерины вонючие, настучали, – сказал шнырь громко. Он всего неделю назад был такой же, как они в этой толпе, но уже он поднялся на ступень по крутой лестнице лагерной иерархии, и уже он был совсем другой, и уже его следовало бояться, и невероятно сладостно ему было чувство, которое он теперь внушал, и то право, которым он теперь обладал. Ибо, кроме права бить, он еще назначал, кому мыть сегодня полы, а полы были в бараке обширные и донельзя грязные, естественно. А завхоз молчал торжествующе и величественно. И Писатель, постояв секунду, ушел. Не хотелось ему идти в барак, хотя он туда входил, когда хотел. И прилечь он мог поспать, когда хотел, – и всего только молчанием заплатить. Означающим согласие и сотрудничество с этим вот назна-

ченным бараном. Как они выискивают таких? Безошибочно, быстро, наверняка. Только вот с Писателем ошиблись, гипноз образования ослепил их. Но вольны исправить ошибку. И плевать. Но зеки-то хороши. Сволочи. Бедняги затравленные. Вот на этом все и держится здесь. А, да разве только здесь? Это все уже Писатель говорил подошедшим вскоре Бездельнику, Деляге и мне. И душа его прямо на глазах отходила и оттаивала, просто-таки светлела с каждой минутой, ибо срабатывала привычка анализировать и обобщать, а утраченная привычка – это же и есть радость в ее чистом виде, так что уже не о поражении своем и не про обиду он рассуждал, а о потрясающе ярком факте. Ибо в сущности – повезло ведь неслыханно, если правильно рассмотреть происшедшее.

– Как воочию убедился я сегодня в правоте этих засранцев англичан, – бормотал нам Писатель торопливо. – В самом деле, всякий народ достоин своего правительства. На какой же крохотной модели это ясно видно!

– Ваша склонность обобщать, сэр, делает вам честь, но может завести гораздо дальше, чем вы находитесь сейчас, – благодушно сказал Бездельник. – Из культоргов ты вылетишь на днях. Но неважно. Потому что я в тебе уверен – ты и в рядовых зеках сможешь попасть в непонятное. Ибо в тебе эта склонность не угасла. А как говорит моя теща, вообще никакое добро долго не остается безнаказанным. Очень уж ты, брат, гуманитарий. Это я тебе как зек говорю. Набираю-

щийся опыта зек.

– Я и добро отныне несовместны, – сказал Писатель с патетикой провинциального трагика. Было видно, что он уже отошел. А потом мы еще и чифирнули. Интересно, подумал я, вспоминая того провидца с пересылки, – будут еще какие-нибудь уроки?

Не прошло с этого дня и двух месяцев. Хотя завязка была намного раньше. Дело в том, что, сюда приехав, кинулся Писатель в библиотеку, вождедея, как молодой любовник. И вернулся темнее тучи. Ничего, просто буквально ничего не было в этой крохотной комнатушке. То есть книг-то было штук двести: биография Ленина и воспоминания о нем, толстые тома белиберды о преимуществах социализма и пособия трактористам, слесарям и штукатурам. И газеты, дней на десять опаздывая, здесь укладывались в ровные стопки. Вот и все. А считалось – библиотекой. Как потерянный, бродил в тот день Писатель, утративший надежду на чтение. Ибо хоть что-то привычное должно оставаться человеку, чтоб и он человеком оставался. Так что с этой точки зрения, как Бездельник не преминул заметить, прижигая йодом душевную рану друга, лагерная библиотека пуста не случайно, а естественно и закономерно. Чтобы никаких поплавок у души, сюда попавшей, не осталось. Это, правда, была идея слишком тонкая, ибо ранее когда-то книги были, но их все растащили офицеры, как потом нам объяснил библиотекарь, севший за аварию деревенский шофер. Хуже, что и личных книг здесь

почти ни у кого не было – вчерашние трактористы, слесари, плотники и монтеры сразу после школы бросили читать книги, появились у них иные (и куда острей) забавы.

И тогда пошел Писатель (не отряхнув с себя прах былой наивности, как выразился Бездельник) прямо к заместителю начальника лагеря по политической и культурно-воспитательной работе (так он именовался) с превосходной (по мнению Писателя) и простой идеей: он, Писатель, напишет своей жене, а та пришлет на адрес лагеря (а не мужу лично) три-четыре книжные посылки (зеку полагается на общем режиме одна посылка раз в полгода, но только после отбытия половины срока). Книги эти Писатель сразу и заведомо дарил лагерной библиотеке, а так как известно, что литература (издаваемая, разумеется, у нас) непременно сеет разумное, доброе и вечное, то и зекам эти несколько десятков книг скрасят жизнь и послужат перевоспитанию. И получил в ответ Писатель вполне благожелательное согласие. Где-то через месяц вызвали его в штаб лагеря, и принес он, веселясь и торжествуя, груду книг из собственной библиотеки. Их немедля расхватали читать, и приятно было (и смешно) смотреть, как нескрываемо радовался Писатель, на это глядя. И во что-то сам уткнулся и наш треп почти забросил и шахматы. Книги были средненькие, признаться, но уже ему жена написала, что купила кучу только что вышедших и послала новую посылку.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.